

Время меняется каждое мгновение.

Значит ли это, что в мире нет ничего постоянного?

1980

— Ба-аба-а! Ну можно мне наверху спа-а-а-ать!

— Нет, я сказала. Я чё, всю ночь тебя караулить буду, что ли?

— Ну ба-а-аба-а! Ну я не упаду-у...

— А вдруг?.. Поезд дёрнется, и слетишь! И потом, у нас билеты на нижние места, вот и поедем на нижних.

Когда я была маленькая, каждое лето мы ездили с бабушкой в отпуск. Путь наш лежал за тридевять земель — от сибирского городка под названием Усть-Кут до далёкого, почти заморского Пржевальска, где жила-поживала бабушкина мама, а моя, значит, прабабушка Мария. Ехали мы два раза на поезде, а потом на автобусе; таким образом, в дороге проводили примерно недельку. Бабушке, наверное, было сложно: чемоданы, дети (кроме меня, она иногда и свою младшую дочку брала, тётку мою, Шурку), бесконечные очереди в билетные кассы и утомительное многочасовое сидение на жёстких креслах в залах ожидания. Зато для нас это было время приключений и ярких впечатлений. Время многие из них стёрло, но не все. Например, необыкновенно красивые тюльпаны, заполонившие всю площадь на вокзале Алма-Аты, забыть просто невозможно. Вот я и помню до сих пор.

Помню ещё, как объедались мороженым. На каждой стоянке и на каждом вокзале бабуля раз за разом выдавала нам по десять копеек, мы бежали к заветным лоткам и покупали: сливочное в вафельном стаканчике, потом шоколадное, потом то и другое в простом стаканчике, картонном, с широкой волнистой палочкой вместо ложки, пахнущей свежеструганным деревом; затем просили у бабушки ещё немного копеечек и брали пломбир, и напоследок — шик! — эскимо! Бог мой, даже само это слово — «эс-ки-мо» — звучит сладко и холодно и тает на языке молочной патокой...

После безмерного употребления главного лакомства советского времени в нас просыпалась жажда. Причём в нескольких смыслах, как минимум в двух: жажда тела и жажда исследования. Здорово, что утолить её можно было одним, как говорится, махом!

— Баба, дай две копейки!

Автоматы с газированной водой притягивали нас, как магнит. Шр-р, шр-р — помыли стеклянный стаканчик в фонтанчике, выплёскивавшемся от нажатия в определённом месте; бзын-н-нь — копеечка укатилась в щёлочку; пшш-шшш — полилась водичка, да прохладненькая, да с пузырьками! Первый стакан, по старшинству, тётке, следующий — мне.

А газированная с сиропом стоила три копейки.

— Баба, дай...

— Хватит уже, обоссываетесь. Я вам сказала чемоданы караулить. У меня вон впереди ещё сколько народу...

Мы понуро плелись обратно, огибая змею из человеческих тел, хвост которой терялся где-то у выходных дверей вокзала, а голова занырнула в окошечко билетной кассы. А питьё то хочется. А с сиропом-то — это ж вкуснятина невероятная...

Тётка моя, Шурка, даром что на четыре года постарше, выдумщица и рукодельница была, да и по сей день такая. Шла, шла и нашла... Нет, не денежку, а алюминиевую крышечку с лощёной бумажной прокладочкой, которыми тогда бутылки с газировкой запечатывали. Повертела Шурка её в руках и говорит:

— Смотри, Натка, она ж размером как раз с три копейки!

— И чё? — недоумевала я и с таким же недоумением потом наблюдала, как тётка аккуратненько, методично заворачивает мягкие края крышки, прижимает их ногтем.

«Ух ты, — думала я, — и впрямь как три копейки! Ну точь-в-точь, только не написано ничё!»

Ах, как сердце стучало: получится или нет?! — когда самодельную «монетку» в щель засовывали! А потом бежали без оглядки, боясь, что дядя милиционер ругать станет за порчу государственного имущества, потому что автомат распознал подделку и вместо «бзин-н-нь» и «пш-ш-ш» выдал «крс-с, крс-с». И чинно сидели у чемоданов до прихода бабушки с тремя билетами на следующий поезд.

Так было всегда, когда баба нас двоих брала, меня и Шурку. Если без Шурки, то я никуда одна не ходила, рядом с бабой сидела и канючила:

— Баба, купи мороженку...

— Баба, я пить хочу...

— Баба, а скоро мы поедем?..

— Ба-а-аба-а-а, а можно, я наверху спать буду-у-у?..

Да, скучновато было без Шурки путешествовать. Но иногда везло...

Рассовав багаж в ящики под сиденьями, застелив матрасы полосатыми, пахнущими хлоркой простынями и вывалив на стол продуктовые запасы, баба чуть ли не насильно заставляла меня лечь отдыхать, а сама горделиво восседала на своём месте: вот, мол, добыла удобные нижние места, поедем как белые люди! Сложив руки на груди, она поблёскивала глазами из-под съехавшего ей на лоб белого, в нежный голубенький цветочек, платка и снисходительно взирала на то, как менее удачливые попутчики располагались на боковушках и верхних полках. Я же, смирившись с таким (прямо скажем, не ах!) положением, смиренно лежала где положили и уже начинала задрёмывать под мерный перестук колёс: чух-чух, чух-чух-чух. Полка надо мной пустовала, и я представляла, что лежу на ней и могу увидеть бегущий лес, стоит только перевернуться на живот и посмотреть в окно.

Тогда, в детстве, я просыпалась сразу, как только поезд останавливался на какой-нибудь станции: вагон переставал раскачиваться, как колыбель, «чух-чух» смолкало и сознание выталкивало меня из мира снов. Но я продолжала лежать с закрытыми глазами, потому что была ленива; лежала и ждала, когда поезд тронется вновь. Вдруг почувствовала, как кто-то сел на мою лежанку, чуть не отдавив мне ноги.

— Уф-ф, здрастье... щас, отдышусь...

— Здравствуйте (это баба откликнулась). Вы на какое место?

— Да вот на это (новая соседка, видимо, пальцем показала).

— Да что вы?! А как полезете-то?

— Да... уф-ф... не знаю вот...

Я чуть приоткрыла один глаз — разговор заинтересовал. У меня в ногах сидела грузная тётка, щекастая, с покрасневшим от жары лицом, покрытым мелкими капельками пота, и маленькой «фигушкой» на затылке: чёрные шпильки торчали в разные стороны из собранных в тугой узелок жиденьких тускло-серых волос. Поезд уже покинул станцию, оставшуюся в моей памяти безмянной, вагон снова покачивался, и тройной подбородок страдающей ожирением попутчицы колыхался в такт. Баба продолжала выспрашивать, а женщина охотно отвечала (ох уж эти женские любопытство и словоохотливость!).

— А чё ж так билет-то взяли?

— Так получилось так (в голосе — вселенская тоска).

— Попросить надо было в кассе, чё ж, не люди, что ли, поняли бы, наверное.

— Просила я, говорю, не залезу, мол, а она мне: «Нижних мест нету». И чё теперь?!

— Ой-ёй-ё, чё ж делается-то! И как вот быть?!

— Не знаю чё... Проводницу попросила, может, с кем-нибудь договорится щас...

— Ну, давайте на наше место, что ли... (Бабушка у меня доброй души человек была, сочувствовала искренне, а моё сердце прямо затрепыхалось от этих слов!)

— Да вы чё, не-е-е! (Эх, разбиты вдребезги мечты! Я зажмурилась, чтоб не разреветься ненароком.) Сами, что ли, полезете, пожилой человек? Или дитё я с места спихну?! Не-не...

В вагоне постепенно нарастал галдёж: свидетелями разговора оказались более полста человек, и все, кроме младенцев неразумных, прониклись ситуацией. Стали выяснять, кто где лежит и кто куда едет. Тут и проводница явилась:

— Сейчас что-нибудь придумаем, женщина, — пошла по вагону выяснять варианты обмена.

Увы, там на нижней полке женщина с грудничком, дальше бабушка — божий одуванчик, дедушка с катарактой, девушка в гипсе и дяденька с одышкой. Проводница вернулась к нам:

— Я даже не знаю, что и делать... Может, попробовать в других вагонах?

— Не надо ничё (баба!)... Натка, вставай, полезешь спать на верхнюю полку.

А меня и упрасивать не надо было! Я вскочила и приплясывала в нетерпении до тех пор, пока бабушка моя, царица Тамара ненаглядная, под охи и благодарности растроганной толстушки перекидывала мою постель на самое лучшее место в мире. Потом, держась за поручень, шагнула на ступеньку, подтянулась и вползла на полку, со счастливой улыбкой улеглась и позволила бабе, несмотря на жару, укрыть меня до подбородка колючим одеялом. Лёжа на спине, я терпеливо дождалась, пока там, внизу, не менее счастливая женщина устроилась на бывшем моём месте. Когда на меня совсем перестали обращать внимание, я потихоньку освободилась от одеяла, сдвинув его к стене, перевернулась на живот, упёрлась подбородком в ладони, утонувшие в мягкой подушке, и посмотрела сквозь запylённое оконное стекло. Внизу баба моя с дорожной подругой пили чай, заваренный в пол-литровой стеклянной банке, рассказывали друг другу свою жизнь, а я смотрела за окно, где, то теряясь вдали, огибая поля и деревеньки, то приближаясь близко-близко, бежал навстречу поезду лес.

2018

Неуютные дни, заполненные процедурами, консультациями, капельницами и тоской по дому, остались позади. В век Интернета многие вещи стали доступнее: как только лечащий врач намекнул на скорую выписку, я оперативненько приобрела на официальном сайте РЖД билет в плацкартный вагон, успев урвать последнее боковое нижнее, да ещё и не у туалета, а в самом начале вагона. Такси, вокзал, перрон, поезд... Вымотанная до предела и физически, и морально, с трудом дождалась, когда молоденькая полусонная (на часах — 23.45!) проводница выдаст бельё, застелила постель и легла: нам бы ночь простоять да день продержаться, а там и родной, милый сердцу Усть-Кут, где дом, где стены лечат и коты ждут не дождутся податанную областными докторами хозяйку.

Купе напротив (хм-м, в плацкарте вот эти «элитные» места, которые не боковые, купе ведь называются, да?) оказалось свободным на три четверти: пассажир одиноко и молчаливо сидел на незастеленной полке, вагонный полумрак не скрыл от меня того факта, что мужчина был далеко не молод. Поезд тронулся, я начала впадать в дрёму. Это такое блаженное состояние, которое я называю «синдромом О'Хары»: все проблемы

и треволнения оказываются не настолько глобальными, чтобы не перенести их решение на следующий день. Если только некие внешние раздражители не вмешаются.

Следующая станция — Иркутск-Сортировочный — буквально через несколько минут. Суетятся новые пассажиры, вволакивают баулы и чемоданы, тащат их по проходу, останавливаясь через каждую пару шагов и громко читая номера уже занятых мест, пока не дойдут до своего, законного, согласно купленному билету, и, к вящей радости, не занятого никаким наглецом. Сквозь свою хрупкую дрёму я услышала, что и наши с тихим старичком попутчики прибыли.

Пришлось отложить сон. Я лежала с закрытыми глазами, поневоле прислушиваясь к шорохам, брякам, тяжёлому дыханию и полугромким разговорам, сопровождающим процесс устройства на новом, но временном месте. Незнакомые голоса сначала звучали фоном, затем сквозь него стали просачиваться отдельные слова, обрастающие смыслом. Наконец остался один голос, мужской, хрипловатый, дребезжащий:

—...Таксимо... с пересадкой... три часа ещё в Северобайкальске... я пробовал, не получается, боюсь, швы разойдутся. Вот...

Мои глаза сами открылись. Женщина средних лет, крепкая, темноволосая, насколько я могла разглядеть при столь блёклом освещении, деловито застлала одну нижнюю полку, на другой сидела в томном ожидании девочка лет одиннадцати-двенадцати, держа на коленях гламурненький рюкзачок (стразики на нём весело бликовали даже при столь блёклом освещении). Рядом с девочкой, на самом краешке полки, сидел дедуля и, задрав рубашку, демонстрировал перебинтованный живот. Вся его нескладная, худосочная фигура выражала одно лишь трепетное ожидание.

Женщина распрямилась, повернулась к деду и, брезгливо скривившись, произнесла:

— Вы бы укладывались, а то мы спать будем ложиться.

Старик обречённо прикрыл свои раны.

Когда я везла отца из Ангарска после операции (диагностировали рак желудка, обнадёжили, разрежали и... отправили домой умирать), нам достались две верхние боковушки. Ну не было других. Я, грешным делом, подумала, что, объяснив ситуацию попутчикам, найду понимание и сочувствие, попросила удобное место только для отца, сама вполне могла и на верхней полочке прокатиться, так как была моложе и — что уж

там! — стройнее и легче, чем сейчас. Никто тогда не пожелал уступить нам нижнюю полку. А отец не мог подолгу ни лежать, ни сидеть. Вот и приходилось мне каждые десять-пятнадцать минут помогать ему то спуститься вниз, то забраться наверх... Дорожные сутки тогда растянулись в вечность. Я испытывала невероятное напряжение, дикую усталость, а каково было больному, немолодому, с незажившей раной отцу — страшно представить! Но у него была я. А вот этот старик, который стоял посреди узкого вагонного прохода, не зная, куда себя деть, наблюдая за тем, как застилается вожденная нижняя полка, как на ней молча укладывается томная девочка, — этот старик был один. И его дом был ещё очень далеко.

Лёжа, но проснувшись окончательно, я наблюдала, как старик, помыкавшись, присел. Женщина деловито приготовилась ко сну: отключила телефон, спрятала его в дамскую сумочку, которую прикрыла подушкой, аккуратно сложила в мягкий квадратик казённое полотенце, пристроила его на сетчатой полочке, на полотенце положила очки. Легла, укрылась, уютно подложила ладони под щеку. Спокойной ночи, дамы энд господа, всем приятных сновидений и доброй дороги.

«Постойте, вы серьёзно, что ли?! Нет, правда, вы спокойно уснёте? А дед? Нет, я понимаю, вы тоже немолоды, но вполне... А девочка? Не маленькая же, может, её на верхнюю?..»

Это был мой внутренний монолог. Говорить такое вслух было бессмысленно. То есть абсолютно. Очевидно абсолютно бессмысленно.

Закипело внутри, заклокотало прямо! Я такой ярости не испытывала давно, с тех юных лет, когда максимализм считался жизненным принципом. Резко встала, скрутила свою постель в расхлябанный рулет, закинула на верхнюю полку, скинула вниз ещё не раскатанный дедов матрас и разложила его на своём месте.

— Ложитесь здесь, — кинула слова, глядя в ошеломлённые глаза старика, и на последнем всплеске злого адреналина вознесла своё девятидвухкилограммовое тело на верхнюю полку.

Отдыхивалась долго и мучительно. Вытерла вспотевший лоб, кое-как успокоила дрожащие руки и ноги. Запоздало испугалась: «А как я отсюда слезу?!» Но глянула вниз — дед лежал, подтянув колени к животу, он уже спал и улыбался во сне, — и ответила себе: «Да как-нибудь».